

Н О В Ы Й

М И Р

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И**

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я

Н О Я Б Р Ь

М О С К В А
1 . 9 . 2 . 8

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ. — Два рассказа (I. Воробьи. II. Благополучие)	5
2. БОР. ПАСТЕРНАК. — Три стихотворения	18
3. М. СВЕТЛОВ. — Большая дорога, <i>стихотворение</i>	22
4. АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ. — Партизаны (из романа «Россия, кровью умытая»)	24
5. АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ. — Подкидные дураки, <i>рассказ</i>	59
6. И. СЕЛЬВИНСКИЙ. — Здорово! <i>стихотворение</i>	72
7. Н. ОГНЕВ. — Дневник Кости Рябцева, окончание	73
8. ВЕРА ИНБЕР. — Место под солнцем, <i>лирическая хроника</i>	97
9. П. ПАВЛЕНКО. — Два короля, <i>рассказ</i>	140
10. МИХ. ГОЛОДНЫЙ. — Сон, <i>стихотворение</i>	153
11. Н. НЕЗЛОБИН. — На кордоне, <i>стихотворение</i>	154
12. А. ВОРОНСКИЙ. — За живой и мертвой водой	156
13. ЕВГ. КРИВОШЕИНА. — Михаил Николаевич Покровский (к 60-летию дня рождения)	185
14. МИХ. ГОРЕВ. — Безбожник-большевик (из воспоминаний об И. И. Скворцове-Степанове)	193
15. OUTSIDER. — Англо-французское соглашение	206

ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ.

16. Д. ГОРБОВ. — Оправдание зависти	218
17. КОРНЕЛИЙ ЗЕЛИНСКИЙ. — Переходник (об Эдуарде Багрицком)	231
18. Б. СКВОРЦОВ. — Опустошенная душа	238
19. ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ. — Листки из блокнота	242
20. С. ПАКЕНТРЕЙГЕР. — Кафедра халтуры	248
21. Г. РЫКЛИН. — Деньги пишут	251
22. Б. ПЕСИС. — Французские писатели и Америка	254
23. В. АРСЕНЬЕВ. — В тундре	258
24. А. МАРИИНСКИЙ. — Поповщина и сектантство	267
25. Г. ГАУЗНЕР. — Гинчвишский лес	275

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

И. МАШБИЦ-ВЕРОВ. — П. Логинов-Лесняк «Дикое поле»	282
С. ПАКЕНТРЕЙГЕР. — А. Зорич «Ровно в четыре»	283
НИК. БОГОСЛОВСКИЙ. — П. Львов-Марсианин «Победа»	283
И. СЕРГИЕВСКИЙ. — Конст. Вагинов «Козлиная песнь»	284
АННА ШАФИР. — Петр Орешин «жизнь учит»	285
В. ШИШОВ. — Петр Орешин «Откровенная лира»	285
В. ШИШОВ. — Павел Дружинин «Черный хлеб»	286
МИХ. РУДЕРМАН. — В. Кириллов «Вечерние ритмы».	287
Я. ФРИД. — Э. Баррингтон «Сердце поэта».	287

Партизаны¹⁾

(Из романа „Россия кровью умытая“)

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ

(Продолжение²⁾)

В России революция — пыл,
ор, яроводье, урывистая вода.

Всю дорогу разговоры в вагоне.
О чем крики, о чем споры?
— Все дела в одно кольцо своди—бей буржуев, душа из них вон!

— Земля наша, и все, что на земле, наше.

— А беломордые?

— Што нам беломордые... Голова — мы и когти — мы!

— Правильно. Наша сила и наша власть... Всех, братишка, потопчем, всех порвем!

Простонародная революция — плач и стенанья, песни и слезы.

Навстречу два эшелона попались, урезный фронтовик, кровь родная.

— Ура...

— Ааа...

Все машут винтовками:

— Даешь буржуев на балык!

— Долой Филимонова!

— Рви кадетню!

— Поездили, попили... Теперь мы на них поедем!

— Крой, товарищи, капиталу нет пощады!

— Доло-о-ой...

И долго еще за эшелонами слышались утихающие по мере удаления голоса.

Горы расступились, впереди высоченной стеной встало море, по сторонам замелькали домишки, и поезд, в клубах пара, подлетел к станции.

¹⁾ Первые страницы главы, живописующие гулянку моряков в Новороссийске, впервые были напечатаны в конце 1923 г. в «Лефе». В настоящей редакции введен ряд новых сцен, типов и т. д.

²⁾ См. «Новый Мир», кн. 10 с. г.

— Где комендант? — выпрыгивая из вагона, обратился Максим к пробегавшему с пучком зеленого луку молодому солдату.

— Ах, землячок, — остановился тот, отирая шинельной полкой вспотевшее лицо, — сурьезные дела! Фронтвики не подгадят, в один момент обделают дела в лучшем виде.

— Я тебя о чем спрашиваю?

— Держись, ваша благородия, держись не вались! — солдат махнул луком и побежал дальше.

«С митингу, — догадался Максим, глядя ему вослед, — здорово разобрало, всякого соображенья лишился человек».

Максим взял направление в вокзал.

— Где комендант, под девято его ребро?

— Я.

— Тебя и надо.

— А ты сам кто такой? — очнулся комендант и поднял от стола, за которым спал, запухшее лицо.—Ваш мандат?

Максим отвернулся, расстегнул штаны и достал из потайного кармана пропитанную потом бумагу:

— Налицо.

— «То-то-варищ ко-ман-ди-рует-ся за о-оружием... под-держка ре-волю-ци-онной вла-власти на ме-стах», — вслух прочитал комендант, потер на мандате помуслявленным пальцем печать и, развалившись в мягком кресле, сдвинул на нос кепку: — Не от меня зависит.

— Как так?

— Та-ак... — а сам и глаз не показывает.

— Да как же так?

— Э-эдак, — мычит сквозь сон.

— Да какой же ты комендант, коли оружия не имеешь? А ежели экстренное нападение контры?

— Не от меня зависит, — тихо отвечает он и тут же, уронив на стол голову, давай храпеть во все завертки.

— Га, чортов сынок! — плюнул Максим через коменданта на стенку и, выбрав у него из пальцев свой мандат, ударился в город.

НОВОРОССИЙСКИЙ СОВЕТ РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КАЗАЧЬИХ ДЕПУТАТОВ.

На лестницах и в залах народу — руки не пробьешь. Черноморские молдаване хлопотали о прирезке земельных наделов, немцы-колонисты искали управу на самовольство казаков, фронтвики и матросы шныряли по своим делам, и тут же неизвестный солдат продавал серебряные ложки.

Толкнулся Максим в одну комнату — заседание, толкнулся в другую — совещанье с рукопашным боем, в третьей комнатухе местный

комиссар финансов на глазах у обступивших его восхищенных зрителей из простой белой бумаги делал деньги.

Встал Максим в дверях и давай самых главных за руки хватать, но иному некогда, иному недосуг, все кричат и мимо бегут, и никто с делегатом говорить не желает. «Што делать, — думает Максим. — Хоть садись и плачь, или обратно в станицу с таким поезжай?...» С горя пронял его аппетит, пристроился на подоконнике, хлеба отломил и только было взялся за сало, — глядь, Васька Галаган.

— Здорово, голубок.

— Да неужто ж ты, дорогой товарищ, живой остался?

— Меня не берет ни дробь, ни пуля.

— Ах, в бога господу мать, рад я ужасно.

Подманил Васька товарищей и ну рассказывать, как они на автомобиле мимо дороги пороли, как в трубе ночевали, как у попа гостевали. Ржали матросы — штукатурка с потолка сыпалась, советские шпалеры вяли, стружкой по стенам завивались.

— Зачем в город притопал?

Максим показал мандат.

— Оружия тебе, солдат, не достать, — смеется Васька, откровенный друг, — в совет здешний всяка сволота понабилась: и большевики, и меньшевики, и кадеты, и эстервы.

Какой такой совет, коли силы-державы не имеет? А ежели экстренное нападение контры, они и усом не поведут?

— Не по назначению попал.

Уцепил Максим дружка за рукав бушлата и начал молить-просить:

— Васёк, товарищ подсердечный, не могу я без оружия в станицу глаз показать. За што мы скомлели, терзались на фронтах? И зачем нам кисла меньшевитска власть? Долой золотую шкурку! В контрах вся Кубань, тридцать тысяч казаков.

— Успокой свое сердце, оружия добудем.

— Верно?

— Слово - олово.

— А совет?

— Совет — чхи, будь здоров, погремущка с горохом. Вся власть в наших руках—хоромы, дворцы и так далее.

Максим, сам не свой от радости, сала кусок и хлеба горбушку на подоконнике забыл.

Васька с товарищами, подцепив друг друга под руки и распевая песни, шли во всю ширину дороги. Максим с мешком на горбу следовал за ними.

Миновали одну улицу, другую, и всей ватагой ввалились в гостиницу «Р о с с и я». Барахла кругом было понавалено горы. Сюда повернешься—чемодан, туда—узел, двоим не поднять. Картины, диваны и занавески цветных шелков. На полу валялись пустые бутылки, на столах ковриги ржаного хлеба, целые кишки колбас, вазы были на-

полнены фруктами, а раззолоченные блюда — солеными огурцами и кислой капустой.

Проголодавшийся Максим набросился на жратву, а Васька растегнул бутылку шампанского. Вспомнили они, как на автомобиле мимо дороги чесали—выпили, про трубу вспомнили—еще выпили, за поповский сапог наново выпили. Вывел матрос гостя через стеклянную дверь на балкон и показывает:

— Вон немцы в Крыму... Вон Украина—страна хлебородная, всю ее покорили гадюки, а флот наш сюда отсунули.

— Немцы?

— Немцы, хлесть иху мать... Шлём-блём, даешь флот по Брест-Литовскому договору. Шалишь! Распустили мы дымок, сюда уплыли. Выпьем вино до последнего ведра,—дальше двинемся, разгромим все берега, и со славой умрем, но не покоримся.

— Вася, зачем умирать?

— Я? Мы? Мы будем жить бессчетно лет! Все прошли с боем, с огнем! Полный оборот саботажа, весь путь под саботажем! Зато и задали же мы им дёрку... Гайдамаков били, раду били, под Белградом Корнила шарахнули, на Дону с Калединым цапались, в Крыму с татарами дрались, офицеров топили в Севастопольской бухте: камень на шею и амба, вспомнили мы им, драконам, «Потемкина» и «Очаков».

— С корню долой?

— Справедливо, дядя... Раз офицер — фактически контрик... Бей с тычка, бей с навесу, бей наотмашь, хрули гадов, не давай лярвам пощады ни на рыбий волос!.. Про Мокроусовский отряд слышал? Наш отряд, Черный флот! Офицеров своих аля-аля пополам да на-двое, теперь сами себе полны хозяйвы. В судовых комитетах поголовно наша бражка, ни одного в очках нет. Дни и ночи у нас собранья и митинги, митинги и собранья. На дню выталкываем по тыще резолюций: клянемся, клянемся и клянемся — бей контру, баста!

Кованое море было полно ленивой, играющей силы.

На рейде, выстроенные в кильватерную колонну, разукрашенные праздничными флагами, дымили корабли. По утрам с дредноута «В о л я» по всей эскадре малым током передавалось радио — политические новости, приказы, поздравления или извещения в роде следующего:

В
сем
всем в
сем сего
дня вечеро
м в горсаду от
крытая сцена на
вольном воздухе к
онцерт митинг шампа
нское бал до утра вход с
вободный военморы пригл
ашаются безисключения да э
дравствует да здравствует до
лой долой долой да здравствует с
вободный черноморский флот Тройка

Максим в бинокль разглядывал могучие туши кораблей, грозные башни, прикрытые чехлами орудия и дивился:

— Силушка.

— Весь Черноморский флот, — приосанясь, с гордостью сказал Васька, — а команды на берегу. Двенадцать тысяч моряков на берегу, подумай, сколько это шуму? Хоромы, дворцы трещат, гостиницы и дома буржуйские от нас ломаются... О совете лучше не говорить и слов не тратить. «Качай шампанского!», — и кислый совет из подвалов Абрау-Дюрсо перекачивает на корабли шампанское. В неделю по два ведра на рыло. И цена подходящая, твердая цена. Ночью загоняем всех рысаков, перетопим лихачей в вине и керенках, до смерти захочется на автомобилях покататься, а автомобилей в городе нет. Ватагой подступим к совету и давай его штурмовать:

— Гони авто!

— Тыл, штатска провинция, душу вынем!

— Го-го-го, отдай, а то потеряшь!

Высунется в окошечко дежурный член, в шинель одетый, а у самого золотые зубы от страха стучат:

— Товарищи, я сам три года кровь проливал, но автомобилей в совете нет. Вы, как сознательные, должны...

— Ботай!

— Куда подевали?

— Пролили?

— Немцам бережете? Душу выдерем и рукавичек нашьем.

— Товарищи, — плачет член, — не терзайте меня, у меня мать старуха...

А мы авралим, а мы для забавы кверху стреляем... Член думает, в него промахиваемся, — то за стенку спрячется, то опять в окошко выглянет и крутится вредный и вертится, как змей в огне.

— Я, — кричит, — не против, я сам фронтовик. Вместо машины, в награду за вашу храбрость, совет выставит шампанского по бутылке на брата.

— Мало!

— Тоже фронтовик, нажевал рыло-то.

Рядимся-рядимся, получим по две бутылки на брата, да по две на свата и с честью отступим.

Матрос без умолку рассказывал о порядках в городе, о фронте, вспоминал чудачества и геройские подвиги своих друзей.

Внизу по улице с лютым воплем, гармонью и бубенцами промчался свадебный поезд. Васька перевесился через перила балкона, облизнул потрескавшиеся красные губы и заговорил еще с большим азартом:

— Девочки-мармуленочки все до одной за нами! Свадьбы вихрем, сплошная гульба. Свадьбы каждый час, каждую минуту. Невесты за пучек пятак. Шафера, подруженьки, все честь-честью. И колец хватает, колец мы нарубили с пальцами у корниловских офицеров.

Во всех церквах круглые сутки венчанье, лохмачи осипли, музыка крышу рвет! Власти много и денег много, все пляшут, все поют, пыль в небо! Пьянка, гулянка, дым, ураган, — ну, жизнь по полный ход!

— Вася, — прервал его Максим, подвертывая бинокль, — никак не разберу, што такое болтается?

— Где? — Моряк припал к биноклю и расхохотался: — Так это ж лапоть...

— Чего?

— Покарай меня бог, лапоть. Он доказывает наш свободный дух. Расступись ботиночки, сапожки, лапоть топает. — Откинувшись на спинку плетеного кресла и устало прикрыв воспаленные глаза, Васька умолк... Он проспал несколько минут, потом встряхнулся, вытащил из кармана лакированную коробочку с кокаином, крупной понюшкой зарядил раздувающиеся ноздри, закрутил от удовольствия головой и, шлепнув Максима по костлявому задку, досказал: — На кораблях, согласно приказа, подняты красные флаги, но нашим чудачкам этого мало. Каждый хочет свою моду давить. Хохлы рядом с красным вывешивают желто-голубой, молдаване свой национальный флаг выставляют, а мы, русские, али хуже других? Красный у нас есть, еще старое андреевское знамя поднять в роде неловко... Вот мы на страх врагам и вздернули над кораблем наш расейский лапоть — пускай вся Европа ужасается.

Максим, веря во всемогущество друга, не терял надежды добыть оружие. Он не отставал от моряка ни на шаг. Васька ни о чем и слушать не хотел, так как в тот самый день женился.

...Васька с Маргариточкой за красным столом сидят и друг дружке улыбаются. На ней новая форменка—женихов подарок. Куражится Васька, уцепил невесту за хребеток, в губки целует, вино пьет, стаканы бьет, похваляется.

— Го-го-го.

— А-га-га-га-га-гаа...

Васька сердится:

— Что я вам, — говорит, — чувырло какое?

Из двух кольтов попадает Васька—на спор—в пустые бутылки, понаставленные на рояль.

Бабы визжат, братва потешается.

— Отчаянный вы народ, флотские, — кричит Максим через стол: — а я, а меня, оружия... ждут станишники.

— Какое тебе оружие, ежели я женюсь? Отгулям, отпляшем и... Чечеточку, ползунка, лягушечку как тряхнет-тряхнет Васька, лкти на отлет:

— Рви ночки, равняй деньки!

Отяжелевшая голова Максима падала на стол, но взрывы веселья заставляли его таращить глаза...

В углу моряки играли забрызганными кровью картами. На кону — золото, часы, кольца; керенки не считали, а отмеривали на глаз.

Тесть с картонной грудью и в смятом котелке плясал камаринского на демократических началах. Гости над ним потешались, покрикивали:

- Нет, спой-ка ты нам «Яблочку».
- Тряхни брылами, повесели гостей.
- Уморушка, Татьянушка...
- Сыпь, буржуй, на весь двугривенный.

Теща дышала над молодыми:

— Девушка она у меня чуткая, деликатная и умница. Гимназию с золотой медалью окончила. Уж вы, Василь Петрович, ради бога, будьте с ней понежней. Она совсем, совсем ребенок..

Ваську от умиления слеза прошибает, Васька перед тещей пылью стелется:

— Мамаша, да разве ж мы не понимаем? Мамаша, да я ж в лепешку расшибусь...

Маргариточка за роялем трень-брень. Ее восковой голосок тонет в мутном, утробном реве:

Э-э, яблочко
На тарелочке.
Надоела жена,
Пойду к девочке...

На улице под окном песню подхватили с прйсвистом, брызнуло стекло, и — в раме — рожа дико-веселая:

- Э, да тут гулянка?
- Под окнами летучий митинг:
- Свадьба.
- Фарт.
- Залетим на часок?
- Вались лево на борт!

Жених высунулся из окна, и, смутно различая белевшие в темноте рубашки матросов, кричал:

— Заходи, ребяташки, места хватит, вина хватит!

Дом гудел и стонал.

Выпили все шампанское, весь спирт и всю самогонку. Под утро тесть привез корзинку прокисшего виноградного вина; не разбирая, и его выпили. Спали вповалку на битой посуде, на растоптанных об'едках. Похмелялись огуречным рассолом.

Кто-то хватился Васьки, — Васьки не было.

— Ах, ах, где молодой?

Нету молодого, пропал молодой.

Теща плачет, в батистовый платочек сморкается. Маргариточка белугой ревет, охорашивает ягодки помятые. Шафера выжимают из бутылок похмельку, к подругам Маргариточкиным присватываются.

Кинулся Максим Ваську искать, — нету Васьки.

Оказывается, на фронт махнул, а может быть, и не на фронт? Вечером, будто, видали Ваську — в городском театре зеркала бил. А потом слух прошел, будто влюбилась в Ваську артистка французская. Зафаловал он артистку, раз-раз, по рукам и в баню. Лафа морячку, куражится, подлец: «Артистка, принцеса, баба свыше всяких прав!».

Пришли поздравлять дружка и видят — артистка не артистка, а самая заправская — страшнее божьего наказания — чеканка Клавка Бантик. Кто ж не знает Клавку Бантика? Васька, на что доброго сердца человек, и то взревел:

— Ах ты, кудлячка!

Плеснул ей леща, другого и в расчете—бесхитростный Васька человек.

Стонут, качаются дома, пляшут улицы.

Прислонился к «России» китаец, плачет китаец, разливается:

— Вольгуля, мольгуля...

Выкатились из гостиницы моряки и навалились на ходю:

— Китаеза, что означают твои слезы?

— Вольгуля, мольгуля... Моя лаботала-лаботала, все дениги плолаботала, папилоса нету, халепа нету! — Слезы эти из него так и прут.

— Ха-ха, бедолага, черепашьи яйца, сковырни слезы, едем с нами.

— Аяй, чудачок, кругом свобода, а ты, шибко-куёза, плачешь?

— Эх, развезло, размазало, стой — не падай!

Могучие руки втокнули пьяного Максима в реквизированную архиерейскую карету с проломленным боком. Ввалились в карету Васька, шкипер Суворов, китаеза, еще кто-то.

Сорвалась и понесла тройка, разукрашенная пестрыми лентами: и у лошадей праздник, и лошадям было весело.

Свист.

— Пошел на полный!

— Качай-валяй, знай покачивай-кача-а-ай!

— Рви малину, руби самородину!

Помнил Максим и станицу, и фронт, а слова расползались, ровно пьяные раки:

— Вася, родной... Господи, братишки... В контрах вся Кубань, сорок тысяч казаков.

— Погоди, и до казаков доберемся и их на луну шпилить будем.

— За што мы страдали, Вася?

— Не расстраивай, солдат, своих нервов. Всех беломордых перебьем и баста. Останутся на земле одни пролетарии, а паразитов в землю, чтобы и духу ихнего не было! Оружия достанем, дай погулять, дай сердцу натешиться вволю — первый праздник в жизни!

— Показал бы ты мне корабль? Экая махина, — сказал он, оглядывая стены.

— Можно. Сыпь за мной!

Спускались в кочегарку, моряк рассказывал:

— У нас на миноносце «Пронзительном» триста мест золота на палубе без охраны валяются, никто пальцем не трогает, а ты говоришь грабировка... Тут, браток, особый винт упора, понимать надо.

— Неужто золота?

— Триста мест золота из киевских, харьковских сейфов. Мы, годок, за шалости своих шлепаем. У нас это просто, — коц, брык и ваших нет!

В кочегарке было черно и угарно. Забитые угольной пылью, задымленные кочегары работали без рубашек. Из угольных ям на руках подтаскивали чугунные кадки, ширяли гребками в отверстые пасти печей, подламывали скипевший шлак. Скрежетали о железный пол, мелькали высветленные лопаты. Стенки котлов пышали палящим жаром. В топке, сверкая через решетку поддувала полными неукротимой ярости желтыми глазами, сопел и с рычанием ворочался огнище. Гудели, завывали ветрогонки.

— Ад, — сказал Максим, утираясь шапкой. Пот садил с него в тридцать три ручья, от духоты спирало дыхание.

Наклоняясь к нему, Васька кричал:

— Это что! Два котла пущены,—это что! Вот когда все десять заведем, уууу! Жара под семьдесят! Ветрогонки старой системы, тяга слабая, жара под семьдесят. Да ведь надо не сидеть, платочком обмахиваться, надо работать без отверту, без разгибу работать. Не пот, кровь гонит с тебя! — В глазах моряка полыхали отблески огня: в эту минуту он показался Максиму похожим на чорта с базарной картинки.—Эх, в бога господу мать, пять годиков я тут отбухал! Жизнь—горьки слезы! Али и теперь не погулять? Первый праздник в нашей жизни!

Вылезли наверх, прыгнули в шлюпку и поплыли в сияющий огнями, гремющий музыкой город.

Наперерез, рассекая высоким носом встречную волну, пронесся миноносец «К е р ч ь». За кормой, распластавшись, летел черный флаг, на котором Максим успел прочитать трепещущие слова: «Анархия—мать порядка».

— Чего у них флаг не красный?—спросил он.

— Такой больше нравится.

— За кого они?

— Тоже самое за революцию. Состоят в распоряжении местного ревкома, но подчиняются только сами себе. Как-то зимой приплыл сюда из Турции Варнавинский полк и мортирный дивизион. Долго мы с солдатами митинговали, долго их уламывали и, в конце концов, уговорили наступать на Екатеринодар. Ладно, согласились, получили

на руки провиант, но перед самым выступлением офицеры ихние заартачились и об'явили нейтралитет. Ревком арестовал сорок три офицера и приказал миноносцу отвезти их в Феодосию в распоряжение квартировавшей там дивизии. Проходит день, проходят два дня — об офицерах ни слуху, ни духу. Шлет ревком радиодепешу: «Где арестованные?». Из моря команда миноносца тоже по радио отвечает: «Свое мы дело совершили»,—и больше ни звука! Чисто сработано? Ха-ха-ха... Рыбаки нас костят на все корки: в бухте то и дело утопленники всплывают, а на базаре рыбу и даром никто не берет, брезгуют. Оба дружно захохотали.

Над воротами городского сада плакат:

Ш т а т с к и м в х о д в о с п р е щ е н .

Все за матросами, черно от матросов.

На подмостках распевали и кривлялись куплетисты. В звоне струн и в вихрях разноцветного тряпья бесновались цыгане.

— Веселая дешевка,—сказал Васька Максиму, пробираясь меж столиками,—за тыщу всю ночь гуляй с девочками, с музыкой, с вином. Не люблю я денег пересчитывать, а денег этих самых у меня с полпуда—пропивай не пропьешь, гуляй не прогуляешь.

— Наследство буржуйское досталось?

— Никогда сроду... Ты, голова, не помысли на меня лихо. Полной обмундировки по пяти комплектов на брата мы получили? Получили. Жалованье за год вперед получили? Получили. Опять же и в карты мне везет, как проклятому. Вот и подумай, на сколько миллионов мой мешок потянет?

— Пировали за столиками, на открытых террасах, а то и так, просто на траве, на разостланных шинелях.

— Эх, братишки, в бога боженят!

— Иисус Христос проигрался в стос!

— Пей, все равно флот пропал!

— Кто там скулит?

— Бей буржуев — деньги надо!

Из множества глоток, подобная рыданию, рвалась любимая моряцкая песнь:

Наверх вы, товарищи, все по местам,
Последний парад наступает.
Врагу не сдастся наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает...

— Надоела вся борьба... Домой...

— Не хочешь ли на мой?

— Братишки, в угодничков божьих, в апостолов мать!..

К песне налетали все новые и новые голоса, земля гудела от надрывного рева.

Все выпелы вьются, и цепи гремят:
Наверх якоря поднимают...

Клавка Бантик с цыганистой подругой исполняли танец «Две киски».

— Дамочки-мамочки, бирюзовы васильки.

— Цыганка Аза... в рот... в глаза...

— Рви ррр-рр-рр-ночки, равняй деньки!

— Хорёк, руби малину, не хочешь ли чаю с черной самородиной?

Жесткие, мозолистые ладони хлопали, как ружейные залпы.

— Га, резвы ноженьки, верти, верти, верти!..

Плясали смоляные косматые факелы, плясали моряки Рогачевского отряда. Обвешаны они были бомбами, пулеметными лентами, револьверами. Пахло от них пылью, порохом. Вчера только с фронта убежали, погуляют вечерок-другой и на извозчиках покатают обратно на позицию. Позиция под боком, кругом огонь, кругом вода.

— Ходи, отдирай пятки!

— Арра барра засобачивай!

Наливался, наливался китаеза на голодное-то брюхо, и вдруг хлынуло из него все обратно: мадера, шампанское, всевозможные закуски и нежеванными ломтями копченая колбаса. Его отпоили сельтерской. Он выкурил несколько папирос и снова с полным бесстрашием набросился на яства и пития.

За столом сидели: Максим, Васька, Ильин, Суворов, китаеза и деповский слесарь Егорыч.

Максим, не в силах сдержать переполнявшие его добрые чувства, целовал всех под ряд:

— Вася, обороти внимание... Черствая рука — Егорыч... В неделю два бронепоезда сгрохали, шибко нам бронепоезда помогли... Законный пролетариат из рабочего строю... Глаза стращают — руки делают, руки не достанут — ребрами берут... Вася, обороти вниманье.

Вытирая продранными локтями залитый стол, Егорыч хрипло кричал:

— ...Начальник мастерских — против, мы его в тюрьму! Листового дюймового железа нет—добыли! Шестеро суток не жрамши, не спамши задували и, действительно, сгрохали, поставили на колеса два бронепоезда... И наша копейка не щербата... Тридцать годов работаю, а такой горячки не видывал.

Васька тряс старому слесарю корявую руку и угощал всех в круговую:

— Пей, гуляй, товарищи... Нонче наш праздник. Хозяин!— заорал он поднимаясь. — Подавай ужин из пятнадцати блюд! За все плачу! Есть ответ! А беломордых передушим всех до одного. Душа из них вон! Мы...

Хор цыганский:

На горе стоит ольха.
Под горою вишня.
Буржуй цыганку полюбил,
Она за матроса вышла...

Каждая башка весела—

—каждая башка бубен.

Распалилось сердце Васькино, легко вспрыгнул на стол:

— Братишки, слушай, сюда-а-а...

И начался тут митинг со слезами, с музыкой.

Васька, ровно из огня, слова хватал—с мясом, с кровью, с шерстью. О фронте он говорил грозно, о революции—с большой торжественностью, о буржуях—с неукротимой яростью. В углах губ клочьями набивалась пена.

Затем Максим с пятого на десятое рассказал про свою станицу, путаясь в словах, как лошадь в коротких оглоблях.

Говорили все желающие.

— Погуляли, морячки, пора за дельце,—так закончил свою краткую речь Егорыч.—Пятьдесят стукнуло, а с вами и в огонь и в воду пойду. Буду кашу варить, лошадей ваших ковать.

Старика с криками «ура, ура» принялись качать.

Обмусоленным карандашом Васька заносил в книжечку имена желающих ехать на фронт.

Под утро, прямо из городского сада, на вокзал в полном порядке двигался партизанский отряд Василия Галагана. Мерно качались плечи и головы, под тяжестью гулких шагов садилась мостовая.

На вокзале подняли на ноги все начальство, разбудили коменданта.

— Оружье?

— Не от меня зависит.

— Да я ж из тебя все поганые жилы по одной вытяну, — погрозил Галаган и расстегнул кобур с наганом.

Поломался комендант немного, но видит—податься некуда, и выкатил морякам вагон винтовок и вагон патронов. Полвагона винтовок Максиму досталось. Грузили мешки с рисом, хлебом, сахаром. На крышах пульманов устанавливали пулеметы. Китаеза работал, как чорт.

Прослыша про выступающий на позицию отряд, прибежали проститься рабочие, матросские девки и так просто жители.

Оркестры, речи, последние поцелуи.

Почерневший от усталости Васька подает команду садиться и сам следит, чтоб кто-нибудь не отстал.

Длянь, длянь, длянь...

Эшелон сорвался и, гремя буферами, раскачиваясь на стрелках, сразу пошел на рысях.

Поезд мчится.

Огоньки.

Дальняя дорога...

Тяжелые немцы ввалились в хлебную Украину и, разметая дорогу огнем и штыками, двинулись на восток. Многочисленные партизанские отряды не могли устоять против железной силы пришельцев и орущим потопом хлынули на Дон, через Дон на Волгу и Кубань. Немцы заняли Ростов, из Крыма переплавились на Тамань и с этих подступов грозили задавить благодатный юго-восточный край.

От Азова до Батайска, в колеблющейся щетине штыков, образовался фронт. На защиту родных рубежей и молодой революции встали кубанцы, ростовские и таганрогские красногвардейцы, черноморские моряки под командой анархиста Мокроусова, шайка головорезов Маруси Никифоровой и мелкие отряды с текучим составом людей.

Большинство отступивших с Украины вольников пробегали дальше.

Через узловую станцию Тихорецкую с музыкой, песнями и пьяными клятвами пролетали сотни буйных эшелонов. В салон-вагонах, перемешанных с теплушками, проследовали на Кавказ банды Чередняка, Самохвалова, Гуляй-Гуляйко, Каски, Тираспольский батальон. С боем прорвался, и угнал за собой на Царицын поезд золота, анархист Петренко.

Не успевший отступить вместе со всеми отряд Черного Ворона долго плутал на Дону по тылам немцев, потом, пробившись в Сальских степях через фронт, повернул на Кубань отдыхать и пополняться.

В весенний праздничный день, когда улицы были полны гуляющим народом, отряд Черного Ворона вступал в станицу.

В тучах жирной пыли широким твердым шагом шли одичавшие за долгую войну солдаты западного фронта.

Матросы — первые удалцы и в боях и в грабежах — держались обособленными кучками, не мешаясь с другими.

Простоватых кареглазых парней и усатых мужиков Приднепровщины ото всех можно было отличить по серым шапкам-вязёнкам и заскорузлым кожухам. Немцы выжгли их хутора и села, отобрали хлеб и скотину. Обалдевшие от горя, они бежали, сами не зная куда. Загрубевшие лица их были черны от пыли, а глаза горели решимостью и яростью.

В запряженном конями испорченном автомобиле тесно сидели очкастые юноши. С одинаковой горячностью они спорили обо всем понемногу и до хрипоты распевали гимны анархии.

В ободранных экипажах ехали отпетые бандиты и шпанка больших южных городов. Из огромного серебряного самовара кружками они пили пенистое цымлянское вино и тоже горланили песни.

Разно одетая рота шахтеров замыкала шествие.

Тачанки были завалены подушками и перинами, а поверх застланы серыми от пыли коврами. Перемерявшие ногами всю Украину и Дон, загнанные лошади всхрапывали, прядали ушами и, чуя близкий отдых, ржали. Заседланные строевые кони бежали на привязи за

тачанками: в гривах развевались ленты, на хвосты были навязаны пучки засохших полевых цветов. Цокали высветленные подковы, гремели пулеметные щиты, и орудия, тяжело приседая на зады, ныряли по ухабам. Накрашенные девки сидели в тачанках. В каждой девичьих коленях валялась пьяная голова партизана. Медведь, прикованный на цепь, бежал за возом и неистовым тоскующим ревом оглашал улицу. В разливе пыли, в гаме многих голосов обоз походил на кочующий цыганский табор.

В голове отряда на караковой, легких арабских кровей, кобыле струнко сидел в седле молодой атаман Черный Ворон. Шапка мелкого каракуля, примятая особенным залихватским способом, еле держалась на затылке. Высокий загорелый лоб был открыт. Начесанный смоляной чуб свисал чуть не до плеча. Над губой резался первый ус, скулы облеплял свалывшийся волос. Черкеску малинового цвета стягивал наборный узенький пояс. Расшитый веселым узором мягкий азиатский сапог еле касался носком стремени.

Непомнящего рода и племени атамана звали Иваном. Он доводился младшим и любимым сыном Михайлы Черноярова. Нравом и статью весь вышел в отца. Та же властность натуры, крутой характер, природное удальство и любовь к походной жизни. Мать, когда еще жива была, умаливала Ваньку ходить в школу, отец частенько парывал его вожжами, но мальчишку ничто не пронимало, от науки он отбился и вырос неграмотным. Дома жил только зимами. Каждую весну убегал в степь к чабанам, или в приазовские плавни к рыбакам. Лишь с первыми заморозками возвращался под родной кров — обветренный и ободранный, с руками, изорванными цыпками, с рублями, звенящими в холщевых карманах. В поисках диких неприступных мест Ванька забирался в такие чащобы, куда редко заглядывал и заправский охотник. Годов в пятнадцать он наловчился вязать и насаживать сети, по звездам находил дорогу, по ветру предугадывал погоду; умел выследить кабанье гайно; по весне, после спада воды, знал, в какое озеро и какая зашла рыба, куда пошел сазан метать икру, изучил повадки рыбы в водах проточных и стоячих, пресных и морских, с большой точностью по близким и далеким звериным крикам определял возраст зверя; тонко различал птичьи высвисты; знал, когда и какая птица живет в степи и какая в лесу; плавал же он так неслышно и проворно, что ухитрялся подобраться в камышах к выводку незамеченным и перебивал утят палкой. Будучи парнем, повадился Ванька хаживать за Кубань в леса, где, соследив волчиные и лисьи ходы, расставлял капканы на черкесской земле, что считалось у казаков особенным удальством. Там сдружился и с Шалимом, с которым после судьба крепко и надолго связала его. Стрелял он отменно — на сто шагов пулькой попадал в лезвие кинжала. Полевой и всякой хозяйственной работы Ванька с малолетства не признавал, зато в плясках, драках и джигитовке всегда был первым. В будни и в праздник, щегольски одетый, шлялся по улице, горланя песни.

Одна ночка темная знала, откуда добывал казак деньги на гулевую жизнь. Болтали, будто удалец с отпетыми конокрадами знается, но пойман он не был ни разу. Раздолье светлых лиманов, дремлющий над водой камыш, путаные и неясные, как намек, тропы да запах пороха и крови—вот и все, что сохранила память о детстве.

Началась война.

Мобилизовали Дмитра. Ванька, не дожидаясь срока призыва своего года, решил ехать следом за братом. Старик наложил на сыновнее решение запрет: он еще надеялся, что парень остепенится и примет на себя хотя часть забот по обширному хозяйству.

Ванька повалился отцу в ноги:

— Батя, благослови.

— Не моги, сукин сын.

— Отпусти.

— Принеси-ка мне плеть, — загремел взбешенный его упорством старик, — отпущу тебе с полсотни горячих!

Этот последний и памятный разговор происходил на базу. Сын не посмел ослушаться приказания и, храня видимую покорность, принес плеть.

— Ложись!

Ванька заупрямился. Первый удар просек кожу на лбу до кости. Ослепленный болью сын сшиб отца с ног и пинками покатил по двору.

Старик проклял его, выгнал из дому и—самая большая обида—не дал строевого коня. Ванька, наперекор отцовской воле, добыл коня за Кубанью, пристал к одному из кавалерийских полков дикой дивизии и вместе с Шалимом отправился на западный фронт.

Война расковала дремавшие в казаке силы. За храбрость и смекалку его не раз представляли к наградам, но кресты и медали не держались на молодецкой груди: то штуку какую выкинет, то начальству согрубит—из чина урядника и хорунжего его опять разжаловывали в рядовые. Однажды за неуплату карточного проигрыша Ванька в кровь избил своего сотника, за что и попал под военно-полевой суд: ему грозил расстрел. Подоспевшая революция распахнула двери тюрьмы. На фронт возвращаться не захотелось. Не заглядывая в стоявшую в резерве бригаду, Ванька ухитрился вызвать Шалима и сманил его с собой.

После многих злоключений на Уманьщине они попали в банду атамана Дурносвиста. Вскоре Дурносвист был уличен в черной корысти и повешен своими. Выбранный ему на смену Сысой Букретов погиб в первом же бою. Ванька, назвавшись Черным Вороном, принял командование над бандой и повел ее на Украину. Под Знаменкой они дрались с гайдамаками, под Фастовым—с Петлюрой, под Киевом—с немцами и большевиками. Молодой атаман всей душой был предан порядку, но на первых порах, чтоб расположить к себе людей, поважал укоренившимся привычкам к грабежу, пьянству и всяческим бесчинствам. Потом, когда его положение укрепилось, круто повернул

к дисциплине: сам стрелял трусов, рвал плети на барахольщиках, но проку от всего этого было мало. При самых пустяковых неудачах банда разлеталась, как дым на ветру, и Ванька с Шалимом скакали по степи, окруженные двумя-тремя десятками самых преданных. Поворот счастья—и шайка быстро возрастала до нескольких сотен. Боевая жизнь выработала свои права. Смертью карался лишь трус и грабитель, не желающий делиться добычей с товарищем, — все остальное было ненаказуемо. За всю войну Ванька не написал домой ни одного письма. Стороной слышал, что отец в станице атаманствует. С годами злоба еще больше распалилась в Ваньке. Он долго лелеял горделивые помыслы, как явится в родную станицу ватажком, как старики во главе с отцом выйдут встречать его хлебом-солью, как они будут упрашивать Ваньку принять в подарок чистокровного степного коня, как отец будет просить у него прощенья... Он помахивал от нетерпенья плетью, остро вглядывался в лица высыпавших ко дворам станичников и досадовал, что никто не узнает его.

Стремя в стремя с атаманом ехал облаченный в саван ад'ютант Шалим. Скуластое лицо его отливало чугуновой чернотой. На поясе болтался заветный обрез и кисет с махоркой, на пику была насажена добытая в последнем бою под Батайском издающая зловоние седоусая голова немца в каске. Над ней вились мухи.

В обозе хранилось немало отвоеванных знамен всевозможных цветов и отцветков. В станицу отряд входил под черным знаменем, на котором светлыми шелками были вытканы скрещенные кости, череп, восходящее, похожее на петушиный гребешок, солнце, и большими гластыми буквами грозные слова:

Спасенья нет.

Капитал должен погибнуть.

Весь отряд втянулся в улицу.

Атаман привстал на стременах, обернулся и хрипким баском скомандовал:

— Весело!

Трубачи только и ждали приказания. Откашливаясь, они кинулись разбирать с возов нагретые солнцем трубы. Кларнетисты, багровея от натуги, начали пробовать инструменты: на их щеках заиграли ямочки, казалось, что музыканты заулыбались.

Оркестр хватил «Яблочко».

Две тачанки были сцеплены бортами и поверх, для звона, застланы досками. На движущийся помост легко вспрыгнула любимая жена атамана и лучшая в отряде плясунья Машка Белуга. Повертываясь на все стороны, она охорашивалась. Ее крыла шляпа с большое решето, писанный гайдамацкий кушак туго перехватывал талию, обтянутые драгунскими штанами стройные ноги дрыгали от нетерпенья, а высокая грудь была увешана содранными с чьих-то грудей крестами и орденами.

— Весело!

Машка кинула глазом туда-сюда, в ладоши хлопнула и пошла рвать:

Буржавой ты буржавой,
Хабур чабур лимоны ¹⁾,
Кругом наше право
И наши законы...

Отряд застонал, закачался в гулком реве:

Кыки брыки всяко право,
Гребем мы все законы...

Кто засвистал, кто принялся стрелять во взбунтовавшихся собак, и медведь, не переносящий лая, заревел во всю пасть.

Площадь не вмещала народу.

Не потешили старики Ванькину гордыню, не вынесли хлеб-соль и свою покорность.

Атаман поднял плеть:

— Стой!

Движение затормозилось.

Брякнув прикладами о черствую землю, встала пехота. Всадники опустили поводья, поспрыгивали с коней и начали разминать занемевшие ноги. Оборвался строй ликующих звуков оркестра. Умолк скрип колес.

Шалим, чуть коверкая слова, прокричал нараспев:

— Квартирьеры, разводи людей по квартирам! Бабы, разбирай постели, готовься к бою! Фуражиры, ко мне!

Над возами, вскидывая выше лошадиных голов, качали хохочущую Машку Белугу.

Матрос будил матроса:

— Тимошкин, вставай... Тимошкин, в деревне мужики горят!

Тимошкин не в силах был вырваться из об'ятий сна и только мычал. Ведро холодной воды ему на голову! Тимошкин, фыркая, поднял стриженую голову, воспаленные глаза его испуганно мигали:

— Где мы, в Таганроге? Горим или тонем?

— Хлюст малый,—заржали кругом,—с самого Дону не просыпался, всю неделю пьян был. Слезай, на Кубань приехали, сейчас с казаками драться будем.

Перед зданием станичного правления Черный Ворон остановился в раздумьи. Потом, переборов себя, ступил на скрипучее крыльцо и, окруженный свитой, ввалился в помещение.

Члены ревкома — по углам.

— Кто у вас тут старший клоун?—спросил атаман, окидывая зорким глазом вставших по стенкам комитетчиков. Он узнал кое-кого из станичников, но его, как ему казалось, не признавал никто.

— Я—председатель ревкома,—поднялся из-за стола Григоров.

— Откуда ты такой красивый взялся?—раздражаясь, вспыхнул Черный Ворон. Он видел Григорова впервые, и то, что верховодом хо-

¹⁾ Лимонами для простоты назывались миллионы.

дит не свой станичник, а чужак, рассердило его. — Атаман в станице есть?

— Был, мы его пугнули.

— Как его фамилье?

— Михайла Чернояров.

Ваньку кольнула догадка, что отца, может быть, и в живых давно нет. Он хотел об этом спросить, но сдержался.

Шалим, которого разбиало бешеное нетерпенье, перемигнулся с фуражирами и ротными раздатчиками, выкрикнул по-татарски ругательство и рассек плетью зеленое сукно на столе:

— Мать, спаситель, кровь...

Григоров откачнулся, поправил подпрыгнувшие на носу очки и насмешливо проговорил:

— Молодцы вы ребята, погляжу я на вас.

— Цыц!

— Помолчи, председатель, — угрюмо сказал атаман. — Не рад прибытию нашему? Пожалуй, собачья твоя душа, голодом захочешь уморить? И лошадей наших заставишь дрожать от голода?

— Кому подчинен отряд?—спросил Григоров.

— Ну, мне.

— А ты кому?

— Чорту.

— За кого же вы воюете?

— А ты что, начальник надо мной, меня допрашиваешь?

— Уу, анна сы!—как укушенный, завопил Шалим и взмахнул плетью. Атаман удержал его руку.

У дверей загалдели:

— Дай ему, Шалим, по бубнам.

— Али на базар рядиться пришли?

— Правильно, будя волынку тянуть, люди голодные, лошади не кормлены.

— Карабчить его и концы в воду.

— Уйми своего молодца,—сказал Григоров.—Прикажи убраться отсюда лишним, тогда будем говорить о деле.

— Гонишь?—прищурился атаман, и ноздри его затрепетали.

— Гнать не гоню, но разговаривать сразу со всеми не желаю.

— Казак, что ли, — храбрый больно?

Григоров промолчал.

Не спуская с него глаз, атаман с нарочитой медлительностью вытянул из коробки маузер, спустил предохранитель и выстрелил через голову председателя в стенку:

— Гад...

Вбежал Максим.

Григоров стоял прямо. Сразу осунувшееся лицо его было серо, глаза немые.

— Вот стерва! — в восторге закричал атаман.— Не боится ни дождя, ни грому! Пойдешь ко мне в штаб писарем?

Максим сразу сообразил, в чем дело, загородил Григорова и, стараясь придать голосу твердость, сказал:

— Стой, товарищ дорогой. Напрасно вы нашему председателю обиду чините. Он расейский и порядков наших не знает.

— Чего ж он порядков не знает?

— В председателях недавно ходит, потому и не знает. Станица у нас на беспокойном месте. Ты вот пришел—по зубам бьешь, а завтра кто залетит—в зубы даст... Никак невозможно больше недели в председателях высидеть, морда не терпит.

— Морда не терпит?! — Черный Ворон заржал. За ним прорвалась гоготом вся свита. Они хохотали, захлебываясь чихом, кашлем. Высмеявшись, атаман спрятал маузер, торопливо, не попадая огнем в папиросу, закурил и изложил свои требования.

— Выставим в срок,—пообещал Максим,—и угощение, и хлеба печеного, и овса, и всего, что полагается, предоставим в точности.

— Ты тоже комиссар?

— Я—простой,—ответил Максим.

— Твоя фамилия — Кужель?

— Так точно.

— Гляди, не исполнишь приказа, голову сниму.

— Будьте покойны, предоставлю.

— Добре. Хлопцы, гайда!

Гости ушли.

— Чорт его батька знает, откуда он обо мне разведал?—обвел Максим всех удивленными глазами.

— Они, эдакие, чисто все знают. Чего-то морда больно знакомая, будто видал я его, только не припомню где, — сказал Ширяй.

— Чего будем делать?—спросил Васянин.

— Послать на фронт вызывную телеграмму,—предложил Меденюк,—вызвать Савкина с нашим полком.

— Долга песня.

— А не попытаться ли разоружить банду своими силами? — спросил Григоров.— Добром с ними, как видно, не поладишь.

— Народу надежного не хватит,—сказал Максим.— Винтовок и патронов я привез, а народу не наберем.

— Где винтовки?

— На станции... И Галаган с моряками на станции, паровоз починяют. — Он рассказал кое-что о своих мытарствах в городе.

— Не взять ли твоего Ваську за бока?—спросил Григоров.

— Вряд ли их, чертей, обротаешь... На фронт торопятся, и злые до бесконечности: дорогой бить некого, так они в телеграфные столбы все стреляли.

— Все-таки надо связаться... И немедленно...

— Пóпробовать можно.

Комитетчики, распределив между собой районы, отправились по станице собирать дань для нашельцев, а Максим с Григоровым побежали на станцию.

Приготовление к пиршеству началось еще засветло.

Партизанам тесно показалось в хатах. Столы были вытащены на улицы и площадь. Под окнами кухонь, ровно пьяницы у кабаков, уви-вались собаки. Засучив рукава и подоткнув исподницы, бегали раскрасневшиеся бабы. Столы ломились под обилием угощений: каравай пшеничного хлеба, пироги с мясом, жареная птица, соленые арбузы, чугуны дымящейся баранины, ведра кислой капусты и моченых яблок.

За богатым столом, развалившись на плюшевом диване, сидел, окруженный приспешниками, Черный Ворон. Со своего высокого сиденья—под ножки дивана были подложены кирпичи—он видел всех, и его все видели.

Вестовая серебряная труба проиграла сбор.

Когда люди расселись за столы, атаман поднялся и вытянул руку:
— Хлопцы...

Площадь притихла... Атаман не любил многословия, краткая речь его была подобна команде:

— Хлопцы, нонче гуляй, завтра фронт! Как мы бесповоротно зараженные революцией,—не поддадимся ни богу, ни чорту! Дальше пойдем, по всему белому свету пойдем, пока ноги бегают, пока кони наши носят нас! Кровь по колено, гром, огонь...

Он опрокинул ковш на лоб. Услужливые руки протягивали ему огурец, корку хлеба, хрящ из осетровой головы.

Площадь гремела:

— Ура батькови!

— Будем панов бить, солить.

— Отдай якорь!

— Вира! Ход вперед!

— Гу-гу-уу...

— Спаса нет, капитал должен погибнуть!

— Хай живе отоман и вольное товариство!

Крики схлынули и понемногу заглохли.

Все набросились на жратву. Некоторое время слышалось лишь чавканье, хлопанье пробок, звон посуды, треск разрубаемых тесаками мозговых костей, потом голоса загудели с новой силой, развернулась песня, полились бабы визги да смех.

В церковной ограде за многими столами, застланными холстом под одно лицо, гуляли шахтеры.

Февральская революция блеснула над Донбассом, как далекая заря. Шахтеры на свою беду плохо разбирались в политических тонкостях. На митингах — проклятия и зубовный скрежет, обольстительные призывы и горы обещаний. Первые выборы дали меньшевикам и

эсерам победу — они возглавили рудничные советы, засели в профсоюзах. Чумазая сила опять была загнана под землю. Социалисты приступили к мирному сотрудничеству с промышленниками. Пока им удавалось выторговать у хозяина копейку прибавки, хлеб дорожал на рубль. Владельцы, выжидая благоприятных событий, отсиживались в своих особняках. Конторщики попрежнему обжуливали горняка при расчетах. Управители мозолили глаза, раскатываясь на заводских рысаках. Подтертое и разболтанное за войну оборудование предприятий не сменялось, а нормы выработки беспрерывно повышались. Наконец, терпенье лопнуло. Зашумели забастовки. Промышленники в ответ закрыли до трехсот рудников. Многие тысячи безработных с неукротимой злобой в сердцах и с котомками за плечами разбрелись кто куда... Скоро по всей стране хватила октябрьская гроза. Шахтеры воспрянули духом. Генерал Каледин, по настоянию шахтовладельцев, прислал на рудник казаков. Шахтеры взялись за кирки и обушки. Началась гражданская война. Рабочие казармы и землянки опустели. Одни разбрелись по деревням ковырять землю; другие утекли к Махно; иные пристали к отрядам Антонова-Овсеенко, Сиверса, Жлобы; не мало увели за собой под Царицын Артем и Ворошилов. Вольная боевая артель под командой забойщика Мартьянова целую зиму воевала с казаками в верхне-донских округах, и потом, спасаясь от немецких пуль, увязалась за Черным Вороном.

Самогон цедили из бочат, черпали из ведер.

— Во! — сверкал из-под окровавленного бинта загноившимися глазами и размахивал кожаной шляпой пожилой шахтер. — Это жизнь!.. Бывало, идешь мимо господской кухни и нюхаешь, как мясными щами пахнет, а нынче вот оно... Радуйся, брюхо, ликуй, душа!

К нему тянулись чокаться.

Винтовки были составлены в козла. Пахло перегорелой вонью, исторгаемой переполненными желудками. Два парня палили над костром насаженную на пику свинью. Черные, проросшие грязью, руки рвали куски мяса. Потные лица блестели довольством; по щетинистым подбородкам стекал жир.

В хатах огней не зажигали. В окнах смутно мелькали испуганные лица. Шайки бродили из двора во двор, как с крестным ходом. Гостей встречал лай взволнованных собак, плач детишек, бабья ругань и причитанья.

Грохот в дверь:

— Хозявы...

— Дома нету, — отзывается из-за двери дрожащий голос, — одна я с ребятишками.

— Оружье есть?

— Боже ж мой, да какое у меня оружие...

— Отпирай... Обыск.

— Господи... Ратуйте, люди добрые.

Дверь трещит и рассыпается под ударами прикладов.

— Говори, куда пулеметы спрятала? Мы знаем... Где сундуки?—
придушенный шопот. — Гроши е?

— Откуда у меня грошам взяться?.. Я вдова, солдатка...

— Нам к тебе под подол некогда заглядывать. Ребята, приступи!

— Карау-у-ул...

— Тю!

Под железными пальцами хрустит бабье горло.

— Товарищи... Черти, у меня и мужа убили на германской войне... Вот документы, читайте, ироды.

— Мы неграмотны.

Штык подходил к любому замку. Из сундуков летели праздничные юбки, сувои полотна, цветные платки и припасенное дочерям приданое.

— Ломи шубу.

— Не дам... Не дам шубу.

— Брось, баба, зачем тебе шуба? Тебя твоя толстая шкура греть будет.

Дом после обыска, как после пожара.

Из дворов выходили, согнувшись под тяжестью узлов. Озираясь и пересвистываясь, убегали в свой табор.

Черный Ворон, пошатываясь и шагая через пьяных, проходил по площади. Время от времени полной горстью он разбрасывал серебряные деньги и покрикивал:

— Все ли, хлопцы, пьяны, все ли сыты?

Кто подносил ему чарку, кто лез целоваться.

Плачущие бабы ловили его за полы черкески:

— Шаль ковровую... Золото.

— Кто же тебе виноват? Прятала бы дальше.

— Растрясли... Обобрали...

— Не наживай много, не оберут.

Старый казак повалился ему в ноги:

— Сынок,.. Господин атаман, овес выгребли... Двух коней с бричкой угнали.

— Ограбили? — спросил он, тронутый горем старика, и, выдернув из-за пояса наган, сунул ему в руки: — Иди и ты ограбь кого-нибудь.

Кругом заржали.

Атаман искал Машку и нигде не находил ее. Неожиданно в стороне, за церковной оградой, послышался знакомый смех. Он остановился... Потом влез на ограду и, придерживая шашку, прыгнул в темноту. Из-под куста ахнув вскочила растрепанная Машка Белуга. За ней поднялся, отряхиваясь, черноусый шахтер, в котором атаман узнал пулеметчика Давыдку.

Черный Ворон, нахлобучив шапку, точно готовясь к драке, шагнул к своей подруге:

— Ты что ж, трепки захотела? Да я из тебя, змея гробовая, требуху вырву!

Машка пропятилась:

— Я тебе не наймичка... Я сама себе вольная.

— Цыма, сука таборная, — бешено закричал атаман, хватаясь за кинжал. — Гайда за мной!

— Дудки...

Сверкнул кинжал —

— пулеметчик на лету поймал кинжал за лезвие и сломал его: в руке атамана осталась одна рукоятка.

Шахтер загородил Машку и поднял руку:

— Отнюдь!

— Ты, г..., в чужое дело не тасуйся.

Они сцепились драться, и оба рухнули на землю.

Девка завизжала благим матом.

Живо набежали партизаны.

Дерущихся розняли, пообрывали с них оружие. Шахтеры приняли сторону своего товарища, солдаты и матросы горой встали за атамана. Готова была вспыхнуть всеобщая потасовка, когда подошел командир шахтерской роты Мартьянов. Грозным окриком он приказал своим людям разойтись. Шахтеры не выдали Машку и, усадив ее за свой стол, наперебой принялись угощать, подсовывая лучшие куски.

Атаман, оставшись с адъютантом с глазу на глаз, сказал:

— Шалим, приготовь за станицей две тачанки... Вымани лярву от этих коблов... Когда все будет готово — доложи... Я разорву ее лошадьми.

— Слушаю, господин атаман, будет исполнено.

— Сколько раз тебе говорил, — нахмурился Ванька, — не зови меня господином... Раньше я был прохвост, а теперь товарищ. Понял?

Потянуло Ваньку домой. Захотелось хоть одним глазом глянуть на свой двор, пробежать по саду, завернуть в конюшню, слазить на чердак к голубям. Терзала мысль об отце — жив или нет? Весь вечер поджидал, что явится кто-нибудь из домашних и позовет его. Чем ближе подходил к дому, тем больше волновался.

Окна были прикрыты ставнями, ворота на запоре.

Он постучался. С хриплым лаем кинулись собаки. Калитку открыл работник Чульча и, не узнав молодого хозяина, преградил ему путь. Не в состоянии выговорить ни слова, Ванька оттолкнул калмыка и, отбиваясь от собак плетью, перебежал двор.

В сенных дверях его встретил сам Михайла.

— Батяня...

— А-та-та...

Ванька кинулся было целоваться. Старик отсунул его в грудь и хотел закрыть дверь, но сын уже протиснулся в сени.

— Ты так-то, батяня? — глухо спросил он.

— Серый волк тебе батяня, огрыза собачья.

Сын промолчал и прошел в дом.

По лавкам вдоль стен сидели старики — Карпуха Барданов, Трофим Савич Маслаков, Селенкин, братья Чиликовы.

— Здорово, казаки, — неласково сказал вошедший.

— Поди-ка добро жаловать... Здоров будь, атаман... — В голосах угадывалась насмешка.

У Ваньки зашумело в ушах, злоба колом встала в горле. Огляделся... Старые в дубовом окладе стенные часы, выпустив всю цепочку, стояли. Стол был завален невытой посудой. Домашних никого не было видно.

— Где же... все? — спросил он, обращаясь к отцу.

— А тебе кого надо?

— Ну, братья, бабы?

— На улицу побегли твоими молодцами любоваться. Меня, как старого кобеля, домовничать оставили, а я тоже не прочь бы подивиться на твой балаган.

— Живы?

— Кашляем... Бог смерти не дает.

— Не ждали?

— Все глаза проглядели, — усмехнулся, подняв рыжую бороду, Селенкин, доводившийся Чернояровым дальним родственником. — Рассказывай, казак, об усердии по службе и об успехах по фронту...

— Он, может статься, и казаком себя уж не считает... Нонче, ведь, всех на граждан повертывают? — подколол старший Чилимов.

Ванька вскочил и опять сел:

— За обиду и за большую грубу слушать мне речи ваши, старики.

Загалдели все разом:

— Творец небесный...

— Какой ты, братец, стал чванливый.

— Помнишь, Ваня, как я тебя с горохом на огороде поймал, да, спустив портки, высек? Давно ли было?

— Зачем пожаловал? — спросил отец, подойдя к сыну вплотную и не сводя с него свирепых глаз.

Ванька сидел на лавке прямо, как в седле, и чувствовал на лице горячее дыхание старика.

Михайла, с силой распуская пальцы и вновь свертывая их в кулак, говорил сквозь сцепленные зубы:

— Што, бесовский вихрь крутит тебя?.. Лба не крестишь?.. В кабак пришел? Шапку долой!..

Ванька пересунул шапку с уха на ухо и, задыхаясь от обиды, сказал:

— Уймись, батя... Не оказывай храбрость свою.

Отец сорвал с него шапку совсем с чубом и заорал:

— Руки по швам, сукин сын!

Первый же удар навесистого кулака заставил Ваньку волчком завертеться по горнице... Он упал под ноги старикам, стукнулся затылком о чугунную ножку швейной машины и потерял сознание.

Михайла сыромятным ремнем прикрутил сыну руки за спину и бросил его в подпол.

— Вася, друг, выручай.

— Чего там у вас?

Максим бегло рассказал, Григоров добавил.

— Какой они партии?

— Партия дери-бери... Кадушки рядушки — ни с чем не расстаются.

— Далеко до станицы?

— Версты две.

Васька оглядел набившихся в вагон моряков:

— Ну, как, ребята?

Моряки, ссылаясь на незнакомство с обстановкой, заговорили разное. Одни советовали не ввязываться не в свое дело, другие невразумительно мычали, многие склонялись к мысли, что нужно дождаться утра, выяснить положение и уж тогда приступить к разгрому банды.

— Товарищи, время не терпит, — сказал Григоров. — Меня удивляет ваша нерешительность. Положение яснее ясного, банду необходимо разоружить, и чем скорее, тем лучше.

— Не горячись, председатель, — ответил Васька. — Они от нашей руки не уйдут. — Кто удалой? — обратился он к своим. — Кто пойдет со мной на разведку?

Вызвались почти все.

Он выбрал двоих — шкипера Суворова и рябого Тюпу, отдал распоряжение выставить усиленную охрану и приказал никому не отлучаться из эшелона до его возвращения.

Григоров мигнул Максиму.

— Вася, и меня прихвати, — попросил Максим, — я тут все ходы на перелет знаю, мигом доведу.

— Пойдем, дружище... Мы с тобой, как рыба с водой.

Вчетвером они вышли из вагона и, как бледные тени, пропали в лунной степи.

Над станицей брезжило зарево.

В черных садах пылали костры.

На высоком крыльце нарядного домика кучка пьяных, окружив о. Геннадия, шашками срезала его седые космы.

— Детки, помилуйте...

— Едем, поп, с нами, пулеметчика в роте не хватает.

— Сыночки, пожалейте.

— В кашевары его! В кобыльи командиры!

Пострадав, его отпустили. Подобрал полы подрясника, он победил прочь от своего дома.

Безгубый, с утиным носом мальчишка, кривляясь, пропел:

Ах, ты, яблочко,
Революция.
Скидай, поп, штаны,—
Контрибуция...

Между столами, вздымая пыль, мчались танцующие пары. Через костры, сверкая голяшками, прыгали девки. Кто спорил о политике, кто просто так развлекался; упившиеся валялись вповалку. Бритомордый эстрадный куплетист и чахоточный солдат с торчащими бескровными ушами стояли друг против друга, как драчуны, и ругались на спор, кто кого переругает. Под ноги им прямо на землю был сброшен ворох мятых денег, пачки папирос, сломанный бинокль, серебряная спичечница—все это предназначалось победителю. Ругателей окружали гогочущие знатоки и тонкие ценители матерщины. Матрос Тимошкин, держа в зубах кинжал, а в руках по букету сирени, выбивал на столе чечетку.

Со всех сторон его и ругали и подбадривали:

- Ножку, ножку дай!
- Класс.
- А ну, пусти тройную дрель...
- Чаще!

Со стола валились бутылки, сползали тарелки.

Васька выпил с солдатами, повертелся среди матросов, на воровском языке перебросился парой шуток с блатными, поболтал с державшимися отдельной компанией анархистами, подтянул шахтерам,—песнь рвалась из их крепких глоток подобна воплю. Потом он разыскал своих спутников, отвел в сторону и отдал краткие распоряжения.

Максиму:

- Две парных брички за станицу, к мельнице. Скоро!

Шкиперу Суворову:

- Шахтерского командира—вон с черными усами—вымани за станицу, придержи до моего прихода. Понятно? Живой ногой!

Моряку Тюпе:

- Выбери солдата с бородой погуще, тащи за станицу.
- Сбор у мельницы?—переспросил туповатый Тюпа.
- У мельницы, через полчаса. Кругом арш!

По окраине площади толпились станичане и негромко переговаривались:

- Вот она комунья...
- И вовсе, бабочки, это не комунья... Анархисты, слышь, да какие-то экспроприатели.
- Приятели... Мне бы хорошую казачью сотню с плетями, я бы им раздоказал...

— У дедки Сафрона двух коней забрали.

— Захотят, и жену возьмут, и крест с шеи снимут... Отвернулся от нас господь-батюшка.

— Беда.

— Наши советчики тоже, видать, хвосты поджали?

— Куда там.

— Дожили до хорошего...

Моряк Тимошкин бесом вертелся в толпе и рассказывал:

— ...Немцы обдирают Украину, как козу на живодерне... Гайдамаки торгуют на два базара: и германцы им камрады, и Скоропадский отец родной. Мы не захотели хохлацкому богу молиться и драпанули сюда... Чистыми шашками прорубились через все фронты, пулеметы у белых добыли, а пушки под Каялом у красных сбарабали. Отдохнем у вас недельку и всей хмарой назад посунем... Грудь стальная, рука тверда—вперед, вперед и вперед!

— А в Крыму, матросик, тоже будорага?

— Гу-гу... Война в Крыму, весь Крым в дыму—ни хрена не поймешь... Большевики продали в Бресте Украину, сейчас ведут в Ростове мирные переговоры с немцами, а завтра столкнутся с буржуями и запродадут всех нас чохом.

Через толпу протолкалась, оправляя растрепанные волосы, Анна Павловна.

— Товарищи, я не понимаю... Я не согласна... Идеальный анархизм... Ваши... Швейную машину, я ею кормлюсь...

— Кто такая?

— Я—учительница.

— Учительница? Машину? Разве ж мыслимо! — возмутился Тимошкин и жирно сплюнул.—Да я их, кудляков, своим судом раскоцаю. Кто у вас, извиняюсь, не знаю имя-отчества, машину стартал?

— Где мне найти. Все вы одинаковы, ровно вас, прости господи, одна мать родила.

— Расписку дали?

— Вы смеетесь? Какая там расписка, думала—сама живая не уйду.—Все еще с надеждой она вглядывалась в веснущатое, оживленное лицо моряка.

— Шиханцы портачи, я их знаю. Ни живым ни мертвым расписок не дают... Перестаньте, мадам, кровь портить, мигом разыщу.— Он убежал и, действительно, скоро вернулся с машиной.

— Вот спасибо, вот спасибо.— Она взялась было за машину, но тут же опустила ее.

— Тяжело? Донести? Мне — раз плюнуть.

— Если вы так любезны...

Всю дорогу Тимошкин врал о том, как он где-то на себе таскал якоря и паровые котлы.

Остановились перед школой.

Анна Павловна позвонила.

— Кто там? — окликнул из-за двери трепещущий детский голос.

— Это я, Оленька, не бойся.

— Мамочка, мамочка... — Дверь приоткрылась. Увидев незнаемого человека, дочь замолкла.

— Машину отыскала, слава богу. Нашелся вот добросовестный товарищ, помог донести.

— Я так за тебя боялась, мамочка, так боялась.

— Заходите, товарищ. Как вас зовут? Не хотите ли чаю?

Матрос поставил машину у порога и встал во фронт.

— Позвольте представиться, Илларион Петрович Тимошкин. —

Он потряс им руки и обратился к дочери: — А вас Шурой звать?

— Ннет...

— Ха-ха... А я думал Шурой. Люблю имя — Шура. Ну, все равно. Чаю, между прочим, выпью с удовольствием.

На столе мырлыкал самовар. Анна Павловна заварила чай. Востроглазая Ольгунька, с голубым бантом на макушке, сидела, ровно заяц, насторожив уши. С любопытством, смешанным со страхом, исподлобья она разглядывала моряка.

По первому стакану выпили молча.

Быстро освоившись, Тимошкин вынул карманное зеркальце, оправил прическу и спросил:

— Чего ж вы, барышня, боялись?

— И сама не знаю... Страшно одной в пустом доме.

— Это справедливо, одному страшно... Был у нас под Луганском случай...—Рассказал потрясающий случай из своей боевой жизни; потом, забавляясь, погонял в стакане клюквинку и скопил глаза на Анну Павловну. — И хорошее жалованье получаете?

— Какое... — Махнула она рукой. — Чуть ли не каждый месяц власть меняется, в школу никто носу не показывает.

— Возмутительно, — подскочила принимавшая близко к сердцу огорчения матери Ольга и выпалила запомнившуюся газетную фразу: — Вы понимаете, без народного просвещения все завоевания революции неизбежно пойдут на смарку.

— Обязательно на смарку, — поддержал моряк. — Им, сволочам, только пьянствовать... — Он небрежно полистал подвернувшийся под руку учебник геометрии и спросил: — Учитесь?

— Увы, в школе почти всю зиму занятий не было, дома немного занимаюсь.

— А вот я шесть годов проучился в гимназии, потом надоело. «Отпустите, говорю, мамаша, на военную службу». «Не смей, дурак», отвечает она. Я не послушался и убежал во флот, скоро чин мичмана получу, я отчаянный...

Заложив руки в карманы широченного клеша, Тимошкин прошелся по комнате и остановился перед поразившим его внимание портретом старика в холщевой рубахе:

— Папаша?

— Нет, это писатель Толстой,—ответила Ольгунька, и в глазах ее вспыхнули веселые огоньки.

Со скучающим видом моряк подошел к стоящему на подоконнике глобусу и крутнул его — замелькали моря и материки.

— Где ж тут мы находимся?

— Олечка, покажи.

Ольга остановила крутящийся, загаженный мухами шар и повела пальцем:

— Вот вам Европейская Россия... Вот Украина, Кавказ...

— Вы там были?

— Не-ет.

— Не были? — удивился моряк и с сожалением посмотрел на нее. — Ваша молодая жизнь кошмар-комедия... Нонче живем, резвимся, а завтра, представьте, подохнем и ничего не увидим... Хотите—дам я вашей судьбе чудесное решенье?

Ольга вопросительно посмотрела на мать.

— Едемте со мной,—продолжал матрос, приглаживая торчащие непокорными вихрами рыжие волосы.—В пище, мануфактуре, или в чем другом недостатка не будет.

— Товарищ, чай простыл,—сказала Анна Павловна.—Иди, детка, тебе спать пора.

Дочь встала, поклонилась и ушла за перегородку в отцов кабинет, где спала на диване.

Тимошкин поговорил еще немного о политике, о зверствах немцев и умолк—ему стало скучно болтать со старухой.

На огонек забрели новые гости. Дверь заходила под нетерпеливыми ударами.

Анна Павловна, оправив трясущимися руками платок, вышла.

Моряк заглянул в комнатушку.

Ольга сидела на письменном столе, при появлении матроса вскочила.

— Вы... Вы... Что вам?

— Пойдем, барышня, гулять, на улице весело.

— Я? Нет... Поздно... Слышите, там кто-то ломится?—побуждаемая желанием защитить мать, она метнулась к двери.

Тимошкин схватил ее за руку, рывком привлек к себе и поцеловал в пылающую румяную щеку. Она закричала не своим голосом, когтями ободрала ему морду и выскользнула из объятий.

— Барышня...

— Нахал... Уходи сию же минуту! — она терла щеку, точно обожженную.

Тимошкин, выкатив помутневшие глаза и бормоча что-то невнятное, пошел вокруг стола.

Она загородилась креслом.

В дверях показались рожи.

Резко вскрикнула, видимо, ударенная кем-то, мать.

Ольгунька, не помня себя, бросила в матроса бронзовой чернильницей, грудью ударилась в жиденькую оконную раму и в звоне стекла выпала в сад.

Моряк выпрыгнул за ней, перемахнул забор и, спотыкнувшись, растянулся на дороге.

Проходивший по улице Васька поднял его и поставил перед собой:

— Откуда сорвался?

— Годок, не видал, не пробегала такая курносая, губы бантиком?

— Не догонишь, далеко ушла. — Васька разглядел Тимошкину рожу, залитую чернилами, но в темноте не разобрал и подумал, что это кровь. — Ранен? Чем это она тебя шарахнула?

— Ну, ее счастье, что убежала... Все равно покалечу задрыгу, не уйдет от моей мозолистой руки.

— Брось, годок, и хочется тебе с бабой возиться? — начал его Васька успокаивать. — Пойдем со мной.

— Куда?

— Дело есть.

— Ящерица поганая, да я ж из нее... Дело, говоришь, есть? А ты из какой роты? Чего я тебя не признаю?

Скоро они выбрались за станицу. У мельницы покуривали и негромко переговаривались четверо, пятый спал, свернувшись на бричке. Все расселись на две брички и погнались к станции,

В штабном вагоне сеялась полутьма, моталось пламя одинокой свечи, на столе шелушились хлебные крошки. Стены были увешаны картами, похабными карикатурами, оружием и одеждой уже полегших спать членов штаба. Спали они на ящиках со снарядами и взрывчатыми веществами, которыми было занято полвагона.

— Вставай, поднимайся, братва! — крикнул Васька вбегая: — Встречай делегацию...

Тимошкин еще раньше смекнул, что попал не в свою... Пожимая руки членам штаба, он с тревогой спрашивал:

— Отряд? Черноморцы? Давайте соединяться...

— С какого корабля?

— С «Гангута». Балтик.

— К порядку,—постучал Васька по столу.—Товарищи, вы привезены сюда на боевое совещание. Дело такого рода... Отряду вашему были отведены в станице квартиры, выставлено угощение, уважены все ваши партизанские требования... — Он помялся, подыскивая подходящие слова. — Пришли вот ревкомовцы, жалуются на вас... Я им и поверил и нет. Дай-ка, думаю, сам разведую, мало ли у нас творится дурости, хотя революция с невинными жертвами не считается... И разведал, мать вашу в лоб, откуда столько громщиков и шпанки набрали? Таковую шатию надо разоружить. Силы у меня хватит... Силой своей, безо всяких заседаний, мог бы всех вас по станице выстелить, но, — он

возвысил голос, — зачем ненужную и лишнюю кровь лить. Надеюсь, что товарищи шахтеры, товарищи моряки и лучшая часть товарищей солдат помогут мне потрепать шпанку... Кто желает высказаться?

— Мы фронтовики,—сказал пьяный, пьянее грязи, солдат,—на родину пробираемся и никому винтовок не сдадим... Как можно без винтовки, раз у вас тут кругом банды гуляют?..

— Корешок, — взывал одновременно с солдатом и Тимошкин:— На своих руку поднимаешь? Где ребята? Давай, веди отряд в станицу, брататься будем.

Максим и Григоров ругались с шахтерским начальником Мартьяновым.

— Черный Ворон, братишка... Вместе через фронт прорывались, с германцами воевали... К тому же и от своих мест мы далеко ушли, возврату нет. Бей, кроши, вырывайся, пропадай душа!..

— Пойми, друг, — подступал к нему Григоров, — вреда от вашего атамана больше, чем пользы... Погуляете, засвищете, только вас и видал, а против советской власти вся округа подымется.

— Подымутся... А зачем вы тут посажены?.. Бей с козла, топчи гадюк, чтоб и не храпели!

— Справедливо,—сказал Максим,—как гадюки шипят и из-под каждой подворотни кусают.

— У нас в отряде ни одного контрика нет, — твердил свое шахтер. — Далеко мы от своих мест зашли, нас страх держит, куда без атамана денемся?.. Он — парень ухо с глазом.

Они отжали его в угол, продолжая агитировать.

— Какая ваша забота за буржуйское добро? — орал солдат. — Али им, удавам, пощаду давать?

Егорыч лез на солдата с кулаками:

— Вы же самая беднота, ваш долг революцию защищать, а не лазить тут баб щупать, да сметанные горшки вылизывать... Со своими буржуями советчики сами справятся, а наше с тобой место, суконное твое рыло, на позиции... У меня сын единственный погибает, сам не желаю даром есть хлеб советский, а вы тут по тылам молочко хлебаете!

Васька поднялся и властно крикнул:

— Разговору нет, все решено... Именем революции приказываю...

— Хочешь загнать в бутылку и заткнуть? — перебил его Тимошкин.—Врешь, стерва, и сам далеко не упрыгнешь!—Он выхватил из-за пояса рубчатую, большой взрывчатой силы, английскую гранату и попятился к стенке, чтоб всех видеть. — Хана! — перекошенное, в чернильных подтеках, лицо его было полно решимости, рука с гранатой занесена над головой.

Васька опешил.

Все замолчали.

В вагоне вдруг стало глухо, как в гробу. Тикающий часовой маятник, точно пунктиром, подчеркивал тишину. Хлопьями плавала копоть.

— Стой, падло, — выговорил Васька. — В вагоне три сотни снарядов и шесть пудов динамита. Ты можешь изо всего эшелона смолу сделать.

Тимошкин, оскалив зубы, молчал. В глазах его испугу было мало.

— Застрели меня одного, ежели считаешь вредным, — продолжал Васька...

Затем, будто боясь кого испугать резкостью движения, он осторожно отстегнул кольт и, держа его за дуло, положил на край стола ручкой вперед.

Еще большую минуту длилось молчание.

Тимошкин медленно опустил руку, подшагнул к столу и положил гранату рядом с кольтем.

— Сдаюсь.

Егорыч, стоявший ближе всех, хлестнул Тимошкина по уху:

— Печенег! Ты — пятое колесо в нашей коммунистической телеге...

— И я сдаюсь, — поднял солдат трясущиеся руки. — Я, братишки, сам служил в Дебальцове в большевистском полку, только забыл правильное название... Я, братишечки, сам два месяца вел бесплатную агитацию.

— Ну, а ты? — в голос спросили несколько человек, глядя на Мартьянова.

— Этот с нами, — ответил за него Григоров.

Шахтер начал распоясываться.

— Оставь оружие при себе, — сказал ему Васька. — Беги в станцию. Поручаю тебе и твоим ребятам захватить батарею и атамана. Прикажи всей роте сбросить шинели и рубашки, чтоб я мог вас отличить от прочих...

— Будет исполнено в точности... Уж я сказал, так умерло... — Он пожал наспех руки Максиму с Григоровым и вышел.

В суматохе солдат успел улизнуть.

— Этого, — ткнул Васька пальцем в Тимошкина, — списать!

— Счастье морское, — заплакал он, подталкиваемый к выходу. — Братишки, за что?

У кирпичной расклеванной пулями стены Тимошкин отдал якорь.

— Как в эшелоне? — спросил Васька.

— Спят.

— Поднять.

— Есть поднять, — ответил Суворов и передал дежурившему в дверях вахтенному: — Поднять людей.

— Есть поднять людей, — отозвался вахтенный и крикнул дневальным: — Будить людей...

Дневальные побежали по составу:

— Полундра!..

— В ружье!..

— В ружье!..

Из вагонов, как град, сыпались одетые, вооруженные моряки и строились перед зданием станции.

— Скатить с платформы два орудия, — приказал Васька.

— Есть, — ответил Суворов и через плечо бросил вахтенному: — Приготовить два орудия.

— Командоры, к орудиям! — протянул нараспев вахтенный. Из темноты моментально откликнулись:

— Есть два орудия!

— Больше приказаний не будет? — спросил Суворов, подтягивая пояс.

— Иди... Я сейчас тоже лечу.

Отряд выстроен. Бубнили низкие голоса. В зубах вспыхивали раздуваемые ветром огоньки папирос. Лица были неразличимы.

Васька с подножки вагона выкричал, пересыпая матюками, краткую гневную речь.

Понимая важность предстоящего, его выслушали с строгим молчанием, без обычного рева. Соблюдая полнейший порядок, вышли за станцию, развернулись в две цепи и двинулись по темной степи.

Ольга не помнила, как ее вынесло на площадь, в самое пекло. Перепрыгивая через пьяных, подгоняемая свистом и улюлюканьем, она свернула в боковую темную улочку и бежала до полного изнеможения... Болотистый берег Кубани, тусклый блеск воды. Забралась в чащу камыша и по нижнюю губу погрузилась в теплую вонючую воду.

Колотящееся сердце готово было, казалось, выскочить через горло. В висках звенела кровь. Остро болела кисть руки, в которой застряли осколки стекла. Над непокрытой головой шапкой висели комары. Со дна били родниковые ключи, ноги начали неметь. Ольга, стуча зубами и дрожа всем телом, выбралась на берег и, как волчонок, далеко обегая жильё, направилась к кладбищу.

Занимался рассвет.

Неожиданно навстречу из-за бугра высыпала цепь матросов в черных шинелях и в бескозырках с развевающимися ленточками. Они огибали станицу широким полукругом.

Бежать было некуда. Теряя сознание, она повалилась, точно подкошенная.

Цепь прошла, не останавливаясь.

Григоров, отставший от строя по причине одышки, наткнулся на Ольгуньку и обмертвел. Потом он поднял дочь и, чувствуя сквозь платье теплоту живого тела, на руках понес ее в станицу.

Моряки вошли в станицу сразу с трех сторон.

Встревоженные улицы гудели. Из дворов выкатывали тачанки, на лошадей на ходу набрасывали хомуты. Скакали всадники, бежали, отстреливаясь, солдаты, и часть обоза уже гремела по мосту. Бесстрашные казачки рубчатыми вальками и ухватами молотили валявшихся

пьяных. В спины бегущих жители палили из дробовиков. Шахтеры на руках выкатили пушки на середину улицы и били по мосту прямой наводкой. Снаряды ложились удачно: по реке поплыли подушки, гогочущие гуси и картонки со шляпами. Мост запылал.

В тот же день благодарная станция провожала отряд моряков и присоединившуюся к ним роту шахтеров на станцию. Максим с Васькой при прощании расцеловались.

(Окончание следует.)

—